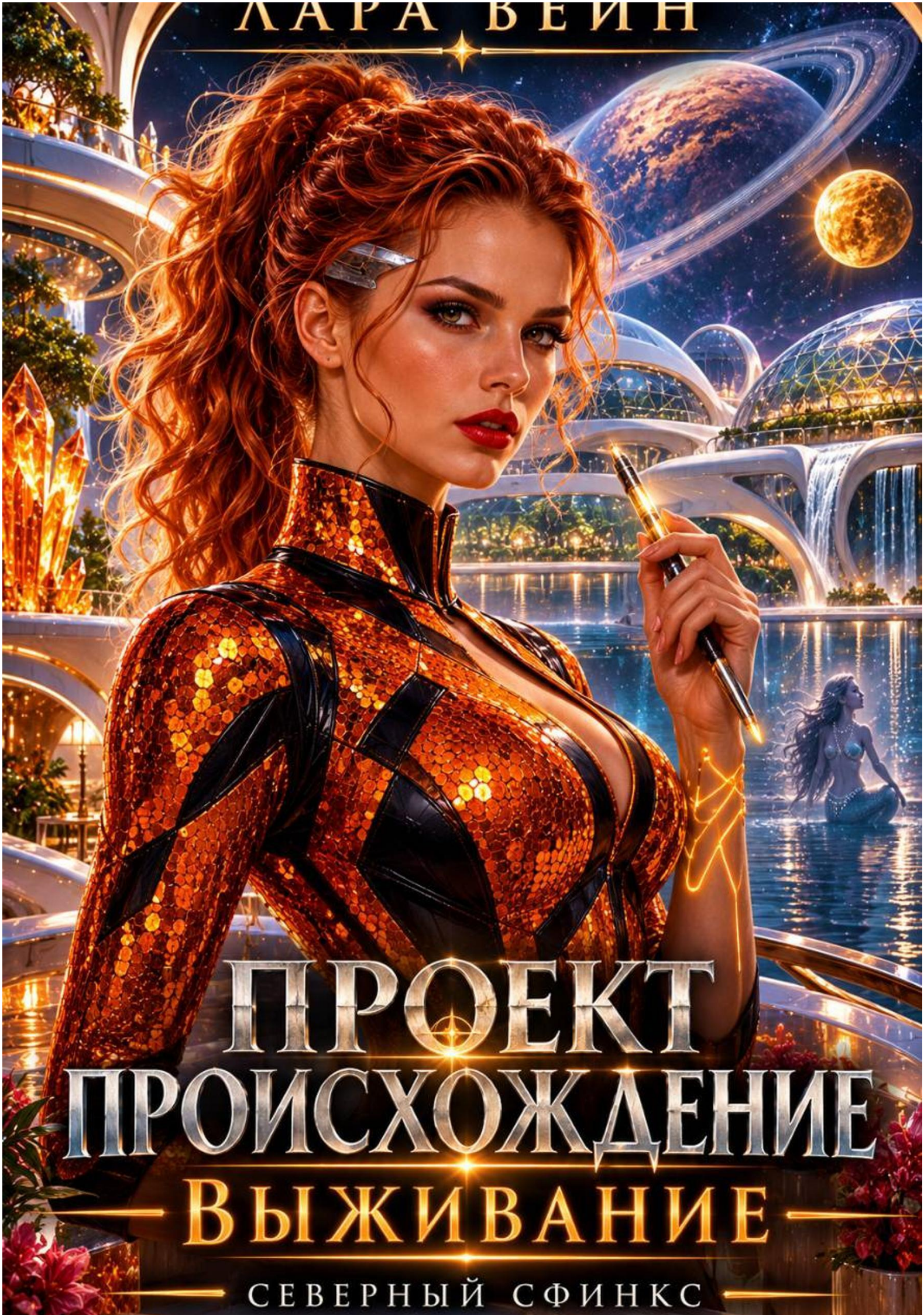
ЛАРА ВЕЙН



# ПРОЕКТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

## Выживание

СЕВЕРНЫЙ СФИНКС

«Проект «Происхождение»»

Сфинкс Северный

# Проект Происхождение
# Выживание

«Автор»
2026

**Северный С.**

Проект Происхождение Выживание / С. Северный — «Автор», 2026 — («Проект «Происхождение»»)

Чужое тело, чужая память и зашифрованный дневник мёртвого техника. Артём по прозвищу Нео оказывается в мире, где каждый человек находится под контролем системы. Его единственное преимущество — профессиональное умение находить то, что другие пытаются скрыть. Даже если доступ запрещён. Особенно если доступ запрещён.

© Северный С., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Пролог. Последний разворот 5
Глава 1. Чужие звёзды 11
Глава 2. Ясность 19
Глава 3. Как дышит курорт 26
Глава 4. Серый знак 32
Конец ознакомительного фрагмента. 33

# Лара Вейн, Сфинкс Северный
# Проект Происхождение Выживание

## Пролог. Последний разворот

Сайра Веллан знала ровно три вещи, которые нельзя было написать.

Первое: что шаттл над сектором Гамма-4 не падал. Его уронили.

Второе: что учёный, погибший в том шаттле, вёз не оборудование, как значилось в сводке, а что-то такое, за чем потом ещё долго охотились по джунглям люди без лиц и без имён.

Третье — и это Сайра знала лучше всего, потому что это касалось лично её, — что всякий, кто подходил к первым двум слишком близко, рано или поздно переставал подходить к чему бы то ни было вообще.

Она сидела в своей капсуле-каюте на борту орбитального лифта, уносившего её прочь от столицы, вверх, к луне Хорус, и в сотый раз прокручивала на голопланшете одну и ту же строку официального отчёта. «Техническая неисправность маршевого контура. Экипаж и пассажиры погибли мгновенно. Виновных нет».

Виновных нет. Её любимая формула. За двенадцать лет в «Ясности» Сайра научилась читать эти два слова, как врач читает плохой анализ: там, где написано «виновных нет», всегда есть ровно один виновный, и он достаточно высоко, чтобы вычеркнуть себя из любого списка.

* * *

«Ясность» — так называлось издание, на которое она работала. Главный официальный вестник Совета Равновесия. Ирония, которую Сайра распробовала ещё в юности, когда пришла сюда наивной выпускницей с горящими глазами: орган, чьё имя обещает свет, существует ровно для того, чтобы свет гасить.

Она помнила тот первый день до сих пор. Огромный, сияющий зал редакции в самом высоком шпиле столицы — выше забирались только члены Высшего Совета да облака. Ряды столов, за которыми сидели красивые, спокойные, уверенные люди и ровными голосами раскладывали мир по полочкам. Ей, девчонке с окраинного яруса, которую сюда взяли за один-единственный материал — острый, честный, за который её чуть не исключили из училища, — тогда казалось, что она попала в храм правды. Что отсюда, с этой высоты, видно дальше и честнее, чем снизу.

Прошло двенадцать лет, прежде чем она поняла, что высота и честность — разные вещи. Что с этой высоты видно дальше, да, — но говорить разрешается только то, что не царапает. «Ясность» не лгала напрямую — это было бы грубо и опасно. Она просто раскладывала правду так ровно, так гладко, так успокаивающе, что из-под её полос не торчало ни единого острого угла, о который читатель мог бы оцарапаться и задуматься. Волнения в нижних секторах становились «временными неудобствами». Разогнанные становились «успокоившимися». Погибшие — «выбывшими». А виновные всегда, при любой погоде, отсутствовали.

Сайра двенадцать лет умела раскладывать ровно. Она была одной из лучших — ей доставались самые сложные темы, те, где острых углов было больше всего, и она заглаживала их так искусно, что начальство ставило её в пример. И всё эти двенадцать лет где-то под рёбрами у неё жила та самая первая выпускница с горящими глазами — живучая, стервозная, не пожелавшая умирать. Она молчала, но не спала. Она ждала.

* * *

Полгода назад выпускница подняла голову.

Сайра наткнулась на крушение Гамма-4 случайно. Ей дали скучнейшее задание — обзор страховых выплат за квартал, цифры, ведомости, тоска, — и среди этих цифр её намётанный

глаз зацепился за одну несуразность. Выплата по крушению в Гамма-4 была оформлена не так, как оформляют несчастные случаи. Слишком быстро. Слишком тихо. Без комиссии, без тяжбы, без обычной бюрократической возни, которая сопровождает любую гибель с материальным ущербом. Будто кто-то очень хотел, чтобы это дело закрылось само собой и не оставило следа.

Она потянула за нитку. За ней — вторую. Третью.

И нитки повели не туда, куда ведут несчастные случаи. Они повели вглубь, в темноту, где у историй нет концов, а есть только обрывы. Экипаж, который «погиб мгновенно», — а один из бортовых техников, оказывается, выжил и был тихо переведён «в другой сектор», и больше о нём никто не слышал. Груз, который значился как «оборудование», — а по одной полустёртой ведомости проходил под отдельным кодом, с отдельным сопровождением, как возят не приборы, а секреты. Расследование, которое должно было тянуться месяцами, — закрытое за три дня с печатью «виновных нет».

Сайра смотрела на это полгода. И впервые за двенадцать лет чувствовала себя живой.

* * *

Её сняли с темы вежливо.

Редактор Орн вызвал её к себе под вечер, когда зал почти опустел. Немолодой, усталый, с лицом человека, который когда-то тоже горел, а потом научился не гореть, потому что гореть в «Ясности» вредно для здоровья. Он не кричал. Он никогда не кричал. Он просто положил ей на стол новое задание и долго смотрел в окно, на огни столицы внизу, прежде чем заговорить.

— Сайра, — сказал он наконец. — Съезди на Хорус.

— На Хорус? — Она не поняла. — Это же курорт.

— Курорт. — Он всё смотрел в окно. — Отдохнёшь заодно, тебе давно пора. Возьмёшь там интервью у этих крылатых деток из Академии — знаешь, молодые Аэрии, первый выпуск, романтика, надежды, будущее мира. Тёплый, человечный материал. Людям нравится тёплое.

Она смотрела на его затылок и понимала всё.

— Орн, — сказала она тихо. — Я почти дошла. Ещё немного — и я пойму, кто уронил этот шаттл и зачем.

Тогда он обернулся. И в его усталых глазах она увидела то, чего не видела за все двенадцать лет, — страх. Настоящий, застарелый, въевшийся, как копоть.

— Вот поэтому, — сказал он так тихо, что она едва расслышала, — и съезди на Хорус, девочка. Пока можешь куда-нибудь ездить.

Людям нравится тёплое. Ещё одна формула, под которой Сайра привычно прочла настоящий текст: *перестань копать, пока цела*. И за этой — ещё одну, которую Орн не сказал, но которая была в его испуганных глазах яснее всяких слов: *я уже потерял того, кто не перестал. Не хочу потерять ещё и тебя.*

* * *

Она и притворилась, что перестала.

Это было нетрудно. У Сайры было лицо, которое верило, что ему верят, — и фигура, которую собеседники разглядывали прежде, чем успевали подумать, что говорят. Она давно и спокойно пользовалась и тем, и другим. В её ремесле это был такой же инструмент, как планшет или записывающая игла: мужчина, засмотревшийся в вырез, выбалтывает на три вопроса больше, чем собирался, и потом ещё гордится, какой он был интересный собеседник. Сайра не стыдилась этого и не кокетничала этим — она этим *работала*, холодно и точно, как работают скальпелем. Её учили в училище, что у журналиста есть только два инструмента — голос, которым спрашиваешь, и слух, которым слышишь. Сайра добавила к ним третий и за годы отточила его острее первых двух.

Так что да. Она взяла задание. Улыбнулась Орну так, чтобы он выдохнул и поверил, что всё обошлось, что девочка послушалась и едет греться на солнышко. Собрала чемодан с

лёгкими платьями. И тихо, под слоем курортной командировки, продолжила копать Гамма-4 — потому что на Хорус, как выяснилось, летела та самая группа молодых Аэрии, которых ей поручили мило поспрашивать про надежды и будущее.

А в той группе была девочка по имени Аэлара.

Та самая, что выжила в крушении, которого «не было». Единственная выжившая, с которой официально никто не говорил. Четверо молодых Аэрии и двое учёных сели в тот шаттл; учёный Илиан погиб, его жена Селия выжила искалеченной, а из молодых уцелели все четверо — и о троих писали, разводили руками, сочувствовали, а о четвёртой, об этой Аэларе, не было почти ничего. Будто её вынесли за скобки. Будто именно про неё было велено молчать.

Сайра двенадцать лет заглаживала чужие острые углы. Она умела с одного взгляда на текст сказать, где из него что-то вынули. Из истории Аэлары вынули слишком много, чтобы это было случайностью.

* * *

Лифт мягко вздрогнул — сцепка со станцией. За выгнутым окном каюты развернулся Хорус: белый, текучий, невозможный.

Курорт при луне, рай для тех, кому по карману рай. Каскады воды падали внутри прозрачных сводов и не долетали до пола, рассыпаясь в туман; сады висели в воздухе на решётчатых ярусах; гигантские самоцветы росли прямо из стен, как иней, пойманный в момент цветения. Под всем этим, заняв половину неба, медленно поворачивалась планета в кольцах — тот самый мир, ради тёплых материалов о будущем которого её сюда и послали. Кольца отбрасывали на облака тонкую карандашную тень, и от этой тени почему-то делалось не торжественно, а тревожно, будто кто-то провёл по готовому миру линейкой: вот досюда — можно, а дальше — нельзя.

Сайра смотрела на этот рай и думала о том, что рай всегда кому-то не достаётся.

Она не знала тогда — не могла знать, — насколько окажется права. Что все эти прекрасные существа за стеклом, голубокожие девы с жемчугом в волосах, певучие, смеющиеся, уверенные в завтрашнем дне, — что их завтрашнего дня не будет. Что однажды мир в кольцах погибнет, рай осыплется, а от них самих останутся только сказки на другой, далёкой планете, где дети будут рисовать русалок, не зная, что рисуют с натуры.

Сайра этого не знала. Она знала только своё крушение. Но у неё было чутьё — то самое чутьё мастера, что умеет из трёх обрывков собрать целую картину, — и сейчас оно, глядя на весь этот свет, отчего-то ныло, как ноет к непогоде старый перелом.

* * *

Она прошла регистрацию под своим настоящим именем — скрываться было глупо, аккредитация «Ясности» открывала двери лучше любой маски. Получила покои с окном в полпланеты — такие, каких в жизни не снимала; номер стоил, наверное, её годового жалованья, и это само по себе говорило, как важно кому-то наверху, чтобы «Ясность» написала про Хорус тёпло. Распаковала лёгкие платья. И, не теряя ни часа, пошла работать.

Первые два дня всё шло ровно.

Она записала милые интервью с крылатыми детками — и они действительно были милы, эти молодые Аэрии, звонкие, дерзкие, насквозь живые. Был мальчик по имени Дариэль, за внешней лёгкостью которого пряталось что-то надломленное, свежее горе, — Сайра, мастер читать лица, сразу увидела, что мальчик недавно кого-то потерял и ещё не выплакал. Была колючая девочка Мирабель, которая следила за всеми чуть пристальнее, чем следят от скуки, — и за своей подругой Аэларой пристальнее всего, с каким-то странным, неприязненным вниманием, которое Сайра отметила и отложила, как откладывают деталь, которой пока не нашла места. Был аналитичный, сухой Элиан.

И была Аэлара.

Сайра поговорила с ней всего раз, коротко, при всех — и вышла с этого разговора с ощущением, которое не умела объяснить даже себе. Девочка отвечала правильно. Улыбалась правильно. Говорила положенные слова про честь учиться, про надежды, про будущее. И всё это — неправильно. Как человек, играющий роль по чужому сценарию и делающий это слишком хорошо для своих лет. В её глазах было что-то старше её лица. Что-то, чему двадцати лет не бывает. Сайра знала такие глаза — так смотрят люди, которые один раз уже всё потеряли и теперь живут как бы начисто, не веря, что начисто бывает надолго.

«Я бы о тебе написала настоящее, девочка, — думала Сайра, глядя ей вслед. — Не про надежды. Про то, что ты прячешь. Только мне бы доползти сперва до своего крушения».

Она не доползла.

* * *

Ночами, в покоях с окном в полпланеты, она раскладывала своё крушение заново — в сотый раз, как раскладывают пасьянс, который не сходится.

Всё началось с ведомости. С обычной страховочной ведомости, какие «Ясность» получала пачками и какие никто никогда не читал. Сайре её переслали по ошибке — вместе с цифрами для скучной заметки о надёжности орбитальных перевозок. Она пробежала столбцы глазами, уже собираясь закрыть, и споткнулась об одну строку.

Груз погибшего шаттла был застрахован дважды.

Один раз — как положено, по обычной описи: приборы, лабораторное оборудование, сумма скромная. И второй раз — отдельной строкой, без описи вовсе, на сумму, за которую можно было купить пол-яруса в столице. Страховали не шаттл. Страховали что-то одно, маленькое, ехавшее внутри. И выплату по этой второй строке никто не запросил. Ни один наследник, ни одна контора. Будто тот, кто застраховал, заранее знал, что получать будет нечего и не с кого, — или что запрос привлечёт внимание, которого лучше избежать.

Двенадцать лет Сайра учила молодых корреспондентов простой вещи: деньги не умеют врать. Люди врут, документы врут, а деньги всегда идут туда, где правда. И если кто-то застраховал безымянную вещь на безумную сумму и потом тихо отказался от выплаты — значит, эта вещь важнее денег. А важнее денег в мире Сайры Веллан бывало только одно: власть.

* * *

Она потянула за нитку.

Нашла пилота, который летал тем же маршрутом за сутки до крушения и который, выпив, клялся, что видел в секторе Гамма-4 чужой борт без опознавательных огней. Наутро пилот от своих слов отказался, а через неделю его перевели на дальние линии, и связь с ним оборвалась.

Нашла имя учёного. Илиан. В сводке — «специалист». В старых, недочищенных реестрах — руководитель закрытой группы, о работе которой не полагалось знать даже «Ясности». Нашла, что у него остался сын — мальчик по имени Дариэль, крылатый, как все Аэрии, зачисленный в Академию в тот самый год.

Нашла, что в шаттле, кроме учёных, летели четверо молодых Аэрии. Что все четверо выжили — чудом, в джунглях, которые не прощают. И что ни одного из них никто ни о чём не спросил. Ни комиссия, которой не было. Ни следствие, которого не начали. Четверо живых свидетелей — и ни одного протокола.

Вот тогда Сайра и пошла к Орну.

Она помнила тот разговор до последнего слова. Как положила перед ним ведомость. Как он читал — долго, не поднимая глаз, и как у него на виске, под старой кибернетической пластиной, билась жилка. Как он наконец сказал, очень тихо:

— Ты это никому не показывала?

— Только тебе.

— Хорошо. — Он подвинул планшет обратно к ней, одним пальцем, как отодвигают горячее. — Теперь послушай меня, девочка. Я тридцать лет в этом здании. Я видел, как отсюда

уходили на повышение, на покой и в никуда. В никуда уходили те, кто приносил мне вот такие листки. Я не знаю, что упало в Гамма-4. И не хочу знать. И ты не хочешь.

— Хочу, — сказала Сайра.

Орн посмотрел на неё — и она увидела в его усталых глазах то, чего боялась больше, чем гнева. Жалость.

— Знаю, что хочешь, — сказал он. — Я тоже когда-то хотел. Потому и говорю.

А через три дня на её столе лежало задание на Хорус. Тёплый человечный материал. Крылатые детки. И только в лифте, уже отрываясь от столицы, Сайра сообразила, что Орн, может быть, не убирал её с дороги, — а, как умел, прятал. Отсылал подальше от тех, кто уже начал интересоваться, кто именно в «Ясности» читает страховочные ведомости.

Он не знал, что отсылает её прямо к единственной живой свидетельнице.

Или знал?

Этого Сайра так и не успела понять.

* * *

На третий вечер к ней в покои пришли.

Не люди без лиц — это было бы слишком грубо для Хоруса, здесь всё делалось изящно. Пришёл обаятельный распорядитель станции, в белом, с бокалом чего-то искрящегося, якобы уточнить, всем ли довольна гостья из столицы. Высокий, гладкий, с той ровной, ничего не значащей улыбкой, какая бывает у людей, для которых вежливость — не чувство, а профессия. Он говорил тёплым голосом — таким же ровным, каким «Ясность» раскладывала правду, — хвалил её материалы, которых ещё не читал, сетовал, как редко к ним залетают настоящие мастера слова, а не борзописцы.

А между двумя любезностями, глядя ей прямо в глаза, он обронил, что воздух на орбите коварен, что у гостей, случается, кружится голова, особенно у тех, кто переутомляется и бродит где не надо в неурочный час, и что он от души советует дорогой Сайре не перетруждаться, беречь себя и держаться освещённых галерей.

Сайра улыбнулась ему своей верящей улыбкой и сказала, что непременно будет беречься.

А когда он ушёл, унеся свой искрящийся бокал и свою ровную улыбку, она села на край роскошной постели, в теле, которое знало себе цену, под чужими звёздами, и поняла совершенно отчётливо, спокойно, по-репортёрски: она подошла слишком близко. Снова. И на этот раз её не снимут с темы вежливой запиской Орна. На этот раз ей просто закружится голова в неосвещённой галерее.

«Вот как это делается, — подумала она почти с профессиональным уважением. — Не угроза. Не нож. Совет беречь себя — и предупреждение, которое не пришьёшь к делу. Изящно. Я бы, пожалуй, оценила, будь это чужой материал».

* * *

Выпускница с горящими глазами внутри неё подняла голову и сказала: *ну и пусть. Допиши. Хоть строчку, но допиши.*

И Сайра встала.

Она давно решила, что сделает, если дойдёт до такого. Правду, которую она собрала, нельзя было нести в «Ясность» — «Ясность» проглотит и не поморщится, да ещё выдаст её, Сайру, тем, от кого эта правда. Значит — дальше. В сеть, в тень, в руки тех немногих, кто ещё читает между строк. Разослать. Разнести. Чтобы, если с ней что-то случится, правда не исчезла вместе с ней, а осталась — где-то, у кого-то, зерном.

Она взяла пишущую иглу. Открыла спрятанную папку — ту, что не для редактора, ту, что она собирала полгода. Гамма-4. Страховочная несуразность, выживший техник, опечатанный груз, закрытое за три дня дело, вынесенная за скобки девочка. Всё, что успела. Немного. Обрывки. Но из обрывков, если ты мастер, складывается картина, а картина — это уже не обрывки, картину не спишешь на домыслы.

Она села писать — последний свой материал, который хотела успеть вытолкнуть в мир этой же ночью, пока голова ещё не закружилась.

Она дошла до первой строки.

* * *

Дальше было странно.

Воздух вдруг стал густым, как вода. Свет в окне — планета в кольцах, золотая луна — поплыл, растёкся, потерял края. Пишущая игла сделалась неподъёмной, как будто кто-то незаметно налил в неё свинца. Сайра успела подумать совершенно отстранённо, своим репортёрским голосом, что распорядитель, пожалуй, не шутил про головокружение и что изящество, с которым это сделано, она бы оценила, будь это чужой материал, а не её собственная смерть. Что ни комиссии, ни тяжбы, ни следа. Головокружение, падение, остановка сердца. Естественные причины. Виновных нет.

Пол ушёл из-под ног мягко, почти ласково.

Она ещё держалась за одну-единственную мысль — не за страх, не за боль, а за ту первую строку, которую не успела дописать, — держалась так, как держатся за край обрыва: пока держишься, ты ещё есть.

«Виновных нет», — подумала Сайра Веллан в последний раз, с той самой стервозной усмешкой выпускницы, не пожелавшей умирать, — и это была очень точная, очень горькая и очень её шутка.

А потом был свет.

Не тёплый золотой свет Хоруса. Другой — белый, резкий, всепоглощающий, пришедший не из окна, а словно изнутри, из самого затылка, будто кто-то за краем всего разом включил слишком яркую лампу.

Он залил всё.

И в этом свете, на одно невозможное мгновение, в гаснущем сознании Сайры Веллан мелькнуло то, что ей уж точно не принадлежало: подземный зал под чужим, северным городом. Старик, говорящий о гибели своего мира. Шесть лиц за одним столом. И женский голос — молодой, дерзкий, совсем не её, — который где-то очень далеко, падая в ту же белизну, успел подумать одно короткое, злое, живое слово:

*«Нет».*

Свет сомкнулся.

И Сайры Веллан не стало.

А тело — яркое, рыжее, в чужих звёздах, с недописанной строкой и пишущей иглой, выпавшей из разжавшихся пальцев, — тело осталось лежать на мягком полу роскошных покоев, тёплое, живое и уже не вполне своё.

Оно ещё не знало, что в нём кто-то есть.

И тот, кто в нём теперь был, ещё не знал, что унаследовал вместе с этим телом недописанную строку — и чужую, стервозную, не пожелавшую умирать выпускницу с горящими глазами, которая и в смерти не согласилась замолчать.

# Глава 1. Чужие звёзды

Первым был свет.

Я много раз потом пыталась записать это ощущение точно — профессиональная привычка, никуда не денешься, — и каждый раз выходило бледно. Потому что словами передаётся «я проснулась». А было не «я проснулась». Было — *меня включили*. Будто кто-то щёлкнул тумблером в темноте, которой до того не было, потому что не было и меня, чтобы заметить темноту, — и вот уже есть свет, тёплый, золотисто-оранжевый, льющийся сверху, и есть я, чтобы на него жмуриться.

Я открыла глаза и не узнала потолок.

Это был высокий свод — гладкий, белый, с мягкой подсветкой изнутри, как у жемчужины, если бы жемчужину можно было растянуть на всю комнату. Свет шёл отовсюду и ниоткуда, ровный, без единой тени, без единого источника, который можно было бы ткнуть пальцем, — и я, ещё ничего не понимая, уже отметила про себя, что такой свет стоит дорого. Дешёвый свет всегда откуда-то бьёт и куда-то отбрасывает тень. А этот просто был, как воздух.

Где-то негромко играла музыка: струны и вода, незнакомая, без мелодии, которую можно было бы напеть, — она не начиналась и не кончалась, просто текла, как те же струи воды. Пахло цветами и ещё чем-то — свежим, прохладным, дорогим. Таким дорогим, что я, двадцать три года прожившая на съёмных квартирах с запахом чужого супа в подъезде, опознала этот запах мгновенно и безошибочно: так пахнут деньги. Большие, спокойные, не мои.

Я лежала на широкой постели, и это точно была не моя постель, не моя квартира и, как выяснилось через секунду, вообще не мой мир.

Потому что сквозь выгнутое во всю стену окно я видела не небо.

Я видела звёзды. И планету. Огромную, в кольцах, занявшую полокна, медленно и беззвучно вращавшуюся где-то внизу, под мягким светом близкой золотой луны. Кольца отбрасывали на её облака тонкую тень, как карандашная линейка, забытая поперёк листа. Планета была так велика и так близко, что от одного взгляда на неё кружилась голова и хотелось вцепиться в постель, чтобы не упасть туда, вниз, в этот медленный кольчатый водоворот.

Я не на земле. Я высоко. На орбите.

* * *

Хорошая журналистка, когда перед ней встаёт факт, в который невозможно поверить, не тратит время на «этого не может быть». Она берёт факт и смотрит, что из него следует. Я всегда считала себя хорошей журналисткой — несмотря на то, а может, и благодаря тому, что меня за это выгнали. Так что я лежала, смотрела на планету в кольцах и деловито соображала, что из неё следует.

Из неё следовало, что я очень далеко от дома. Дальше, чем бывает «далеко».

И только где-то на третьей секунде я сообразила, что есть факт поближе и пострашнее.

Тело было не моё.

Я подняла руки к лицу — и это были чужие руки. Тонкие, ухоженные, с длинными пальцами, с аккуратными ногтями, покрытыми чем-то перламутровым, что тускло переливалось в ровном свете. Мои руки были другие — короткопалые, с обкусанными заусенцами, с чернильным пятном на среднем пальце, которое не сходило, сколько я себя помнила, потому что я всю жизнь что-нибудь записывала. Эти руки никогда ничего не обкусывали и, кажется, не знали, что такое чернильное пятно.

У запястий, под кожей, тлели тонкие светящиеся линии — будто внутрь вживили что-то, что тихо горело своим светом, золотистым, как закатное окно вдалеке. Я нажала на одну — не больно, тепло, и линия под нажимом чуть притухла и разгорелась снова, как будто я тро-

нула что-то живое. Я коснулась виска — пальцы нащупали гладкую металлическую пластину, холодную, вросшую в кожу, как влитую, без шва, без рубца, будто она там росла.

Волосы, упавшие мне на лицо, когда я приподнялась, были не мои: яркие, медно-рыжие, с жёлтым отливом, волнистые, тяжёлые. У меня никогда таких не было. У меня были нормальные тёмно-русые, которые я всю жизнь собирала в пучок, чтобы не мешали работать, и которые мама всё уговаривала «распустить и стать девочкой».

Мама.

Вот тут меня и накрыло — не фактом, а человеческим. Мама осталась там. На земле. В мире, до которого отсюда не докричишься никаким маяком. И папа. И подруги. И редакция, из которой меня выгнали, и даже та самая редакция вдруг показалась мне невыносимо родной и близкой, как всё, что безвозвратно далеко.

* * *

Я села. Медленно — тело слушалось плохо, с запозданием, как чужая машина, к которой не привык: нажимаешь педаль, а она откликается через полвздоха. Меня замутило. От этого запоздания, от света, от планеты в кольцах — и от одной очень простой, очень холодной мысли, которая накрыла меня разом, целиком, едва я осознала её до конца.

Я помнила всё.

Петербург. Подземный город под Петербургом, найденный проходчиками метро. Анонимная СМС с фотографией плиты, исписанной иероглифами, пришедшая мне в три часа ночи с номера, которого не существовало. Пятьсот тысяч на моём счёте от какой-то фирмы-прокладки, за которой никого не нашлось, сколько я ни копала. Моё расследование — то самое, из-за которого меня выгнали с работы, обвинив в том, что я «порчу отношения редакции с серьёзными людьми». Серьёзные люди. Я всю жизнь ссорила редакции с серьёзными людьми. Это, в сущности, и была моя профессия.

Бригадир Иван Петрович, которого я поила коньяком в привокзальной рюмочной, чтобы пролезть на закрытую стройку. Консул — тихий, вежливый, страшноватый, крутивший в пальцах монету, когда думал, — тот, кто собрал нас всех под землёй. Лиза с её сарказмом и чёрным котом по имени Ваучер. Светлана, военный хирург с короткой стрижкой. Громадный Викинг, от которого веяло спокойной силой. И Нео — Артём, мальчишка с ноутбуком и языком без костей, который заявился ко мне ночью под дурацким предлогом переписать мои записи, да так и остался до утра, и у нас только-только начиналось что-то, чему я ещё боялась подобрать слово.

Я помнила самое последнее. Зал света в закрытом секторе под землёй. Старого, полубезумного Зодчего — Мульцибера, — рассказывающего историю своего гибнущего мира: двойная звезда, надвигающаяся катастрофа, Ковчег, на который спасут только избранных. И в конце — вспышку. Белую, всепоглощающую, пришедшую, как мне тогда показалось, прямо из затылка. Его голос: «Надеюсь, всё это будет не зря».

А потом — провал. И вот это: чужой потолок, чужое тело, чужие звёзды.

Он нас куда-то забросил, этот старик. Всех. Не спросив. Я помнила его последние слова и теперь, сидя в чужом теле под чужой планетой, отчётливо понимала: это было не прощание. Это была отправка. Он не умирал перед нами — он нас *отсылал*, и своё «надеюсь, не зря» сказал не себе, а нам, вслед, как говорят вслед уходящему поезду.

* * *

Я сидела на краю чужой постели, в теле рыжей женщины с металлом в виске, и честно, если по-человечески, мне хотелось выть. Или звать маму. Или и то, и другое сразу.

Где остальные? Где Лиза, где Иван Петрович, где Светлана? Жив ли вообще кто-нибудь, или нас раскидало по разным телам, по разным углам этой кольчатой планеты, по разным, может быть, годам — и я теперь одна, навсегда, в чужой коже, дальше от всех, кого знала, чем вообще бывает «далеко»?

Где Артём?

Вот на этом имени у меня перехватило горло, и я поняла, что сейчас действительно разревусь — красиво, в голос, с чужими слезами из чужих глаз. Я почти уже начала. Я даже успела подумать, что имею полное право: очнуться в чужом теле на краю вселенной, потеряв всех разом, — да за это полагается рыдать сутки без перерыва, и никакой суд меня не осудит.

И тут во мне проснулась она.

Не я-которой-страшно. Другая я. Та, что всю жизнь, сколько себя помню, при виде большой, страшной, неподъёмной истории делала одно и то же. Не паниковала. Разбиралась.

«Так, Настя, — сказала эта вторая я голосом сухим и деловитым, каким я обычно разговаривала с источниками, которые вот-вот сорвутся. — Реветь будешь потом. Запишешь в график: рыдания — вечер, после фактов. А сейчас — факты. Где ты. Кто ты теперь. Что это за место. И что у этого тела в карманах».

Странно, но это помогло. Это всегда помогало. Пока ты задаёшь вопросы, ты не тонешь — вопрос держит на плаву, как доска. Я вытерла чужие глаза тыльной стороной чужой ладони. Выдохнула — медленно, считая до пяти, как учила меня одна старая военкорша, у которой я когда-то ходила в стажёрках. «Паника, деточка, — говорила она, — это просто вопросы, заданные все разом. Задавай их по одному, и паники не будет».

И я пошла собирать факты. По одному.

* * *

Факт первый лежал рядом, на низком столике у постели.

Вещи. Чужие вещи этого тела — я потянулась к ним осторожно, как лезут в чужую сумку, потому что это и была, по сути, чужая сумка, только размером с целую жизнь.

Тонкий прозрачный планшет — голопланшет, рука сама его узнала, пальцы легли привычно, будто делали это тысячу раз. Служебный значок на тонкой цепочке: незнакомый герб — круг, рассечённый лучом, — и подпись под ним, которую я, холодея, прочла с лёту, хотя никогда в жизни не учила этот язык и даже букв таких не видела. «Ясность». И ниже, мельче: «специальный корреспондент».

И имя.

«Сайра Веллан».

Я держала чужой значок в чужих пальцах и смотрела на чужое имя, и во мне медленно, как проявляется снимок в ванночке, — я любила это сравнение ещё с тех пор, как бегала стажёркой и мне показали старую плёночную фотолабораторию, — проступало понимание.

У этого тела была профессия.

Моя профессия.

* * *

Я нашла ещё одну вещь — маленький вытянутый прибор, гладкий, тёплый на ощупь, лёгший в ладонь так уютно, будто был отлит по чужой, а теперь моей руке. Сжала, не думая, — и большой палец сам собой лёг на нужное место, и прибор тихо отозвался готовностью, и я поняла, для чего он, прежде чем успела спросить себя, откуда я это знаю. Диктофон. Пишущая игла. Как ни назови — штука, которой ловят чужие слова, чтобы потом разложить их на полосе.

Рука знала его наизусть. Эта женщина, Сайра Веллан, держала его в руке так же часто, как я когда-то держала свой старый цифровой диктофон с треснувшей крышкой, который я таскала с собой даже в душ, потому что лучшие признания люди делают, когда думают, что ты уже выключила запись.

Репортёр. Я попала в тело репортёра.

Я, Анастасия Сергеевна Морозова, двадцати трёх лет, выпускница журфака с красным дипломом, выгнанная из профессии за то, что копала не там, где разрешили, — я очнулась в чужом мире, в чужом роскошном теле, с чужим именем, с металлом в виске и светом под

кожей, — и единственное, за что мне тут было уцепиться, оказалось ровно тем, что я умела лучше всего на свете.

Я сидела, вертела в чужих пальцах пишущую иглу и — странное дело — впервые с момента пробуждения почувствовала под ногами что-то вроде почвы. Потому что это я понимала. Чужой мир, чужое тело, чужие звёзды — всё это было непостижимо и страшно. А пишущая игла в руке — это было понятно. Это было по-моему.

Если бы я тогда уже освоила местные крепкие словечки — а я их ещё не знала, я нахваталась их позже, — я бы, наверное, сказала что-нибудь вроде «тушь и чернила». Потому что ситуация была смешная и страшная одновременно, и обе половинки были про меня.

* * *

Планшет открылся от прикосновения, узнав чужой — теперь мой — палец.

И вот тут я, которой было страшно, окончательно уступила место мне, которая разбиралась, — потому что то, что лежало в планшете Сайры Веллан, я узнала с первого взгляда, как узнаёшь родственника в толпе. Это была рабочая жизнь журналиста. Чужая, на незнакомом языке, который я почему-то читала, — но устроенная до буквы так же, как моя собственная.

Папка с заданием — свежая, официальная, с печатью той самой «Ясности». Командировка на орбитальную станцию Хорус. Цель — серия тёплых, человечных материалов: интервью с группой молодых Аэрии, студентов первого года какой-то Академии, присланных сюда на практику. Будущее мира, надежды, крылатая юность. Я проглядела список имён — Дариэль, Мирабель, Элиан — и один зацепил меня так, что я перестала дышать.

В списке была Аэлара.

Я не знала тогда, кто это. Просто имя, одно из нескольких. Но я его запомнила — потому что хорошая журналистка запоминает имена, а эта женщина, в чьей голове я теперь сидела, была, судя по всему, очень хорошей журналисткой. Что-то в том, как это имя стояло в списке — последним, чуть особняком, — заставило меня его отметить. Как отмечаешь в чужом тексте слово, вокруг которого автор ходил на цыпочках.

А под официальной папкой, спрятанная глубже, зашифрованная, прикрытая невинным именем, лежала вторая. Личная. Та, которую не показывают редактору. У меня была такая же — я называла её «настоящая работа». У Сайры Веллан она называлась иначе, но по сути это было то же самое: папка с тем, за что увольняют. Или, как выяснилось, хуже.

В ней было одно слово, вынесенное наверх, как заголовок, как рана: *Гамма-4*.

И ниже — обрывки. Страховочная ведомость с подчёркнутой строкой. Фото обломков в джунглях — я вгляделась: искорёженный корпус среди исполинских светящихся деревьев, чужой, страшный, красивый. Имя погибшего учёного — Илиан. И поперёк всего, её рукой, одна приписка, от которой у меня — у нас обеих, у меня и у мёртвой Сайры, — одинаково сжалось что-то под рёбрами:

«Это не было крушением».

* * *

Я листала дальше — и нашла ещё две вещи, от которых мне стало по-настоящему холодно.

Первая была медицинской отметкой. Свежей, вчерашней. Станционная служба здоровья сухо сообщала гостье Веллан, что она была обнаружена персоналом без сознания на пороге собственных покоев, что ей оказана помощь, что причиной названо «резкое падение давления на фоне переутомления» и что ей рекомендован покой, обильное питьё и отказ от работы на ближайшие дни. Внизу стояла приписка — вежливая, как всё здесь: «Служба позволила себе перенести Вас на постель и не тревожить до пробуждения».

Я перечитала это трижды.

Обнаружена без сознания. На пороге. Перенесли на постель.

Значит, вот как я оказалась под жемчужным сводом. Эта женщина упала у двери — и её подняли, уложили, записали в журнал «переутомление» и ушли. Никто не удивился. Никто не забил тревогу. Гостья столичного издания рухнула замертво, и станция отнеслась к этому как к пролитому бокалу: вытереть, извиниться, забыть.

А ведь она не просто упала. Я это знала — не умом, телом. Тело помнило. Где-то глубоко, под моей собственной памятью, как синяк под одеждой, сидело её последнее ощущение: воздух, ставший густым, как вода, поплывший свет и очень спокойная, очень ясная мысль — *это не случайно*.

Она умерла у той двери. По-настоящему. На несколько секунд или минут — я не знала, сколько это длится, — тела Сайры Веллан не стало среди живых. А потом в него швырнули меня. И оно задышало снова.

Служба здоровья, выходит, спасала уже не её.

* * *

Вторую вещь я нашла не в планшете. Я нашла её в пишущей игле.

Я крутила её в пальцах, привыкая, — и нечаянно задела что-то, и игла тихо, почти неслышно заговорила. Женским голосом. Низким, с хрипотцой. Тем самым голосом, которым я полчаса спустя буду здороваться с собственным отражением.

Последняя запись. Не стёртая — недописанная.

«…если это кто-то слушает, значит, я не успела. Тогда коротко. Меня зовут Сайра Веллан, я корреспондент „Ясности“, и я в здравом уме, что бы потом ни написали. Шаттл в секторе Гамма-4 не разбился. Его посадили в землю намеренно, из-за груза, который шёл отдельной страховой строкой. Груз не нашли. Его до сих пор ищут. Ко мне сегодня приходил распорядитель станции и очень заботливо советовал беречь голову. Я знаю, что это значит. Я собираюсь сейчас выйти и передать всё, что у меня есть, одному человеку внизу, которому…»

Шорох. Шаги — её собственные, к двери. Пауза.

И всё.

Запись шла ещё минуту — пустую, с далёким пением воды за стеной. Потом обрывалась.

Я сидела на краю чужой постели, сжимая в чужой руке чужой голос, и у меня тряслись колени.

Она знала. Она шла к двери, зная, что, скорее всего, не дойдёт, — и всё равно говорила в иглу ровно, по-деловому, расставляя слова так, чтобы тот, кто услышит, понял с первого раза. Без жалоб. Без «помогите». Одни факты. «Тогда коротко».

Я знала эту интонацию. Я сама так диктовала, когда боялась. Чем страшнее — тем суше.

— Я слушаю, — сказала я вслух, в пустую комнату. Чужим голосом — её голосом, и от этого вышло так, будто она ответила сама себе. — Ты не успела. Зато успела я. Договаривай через меня.

Игла молчала. Вода пела за стеной.

Я аккуратно, как убирают в футляр что-то хрупкое, остановила запись и не стала её стирать. Она до сих пор у меня. Я прослушала её потом раз сто — не ради фактов, факты я выучила с первого раза. Ради голоса. Чтобы помнить, чьё это дело, чьё тело и чей долг.

* * *

Потом я заставила себя встать и сделать то, что надо было сделать с самого начала: проверить, на что способно то, во что меня поселили.

Ходить оказалось труднее, чем сидеть. Сайра была выше меня — на полголовы, не меньше, — и центр тяжести у этого тела сидел совсем не там, где я привыкла. Первые шаги я сделала, держась за стену, как после долгой болезни. Пол слегка пружинил. Колени слушались с опозданием. Я дошла до окна, вернулась, дошла снова — и на третьем круге поймала ритм: это тело умело ходить красиво, надо было только ему не мешать. Стоило перестать командо-

вать каждым шагом — и оно пошло само, плавно, от бедра, походкой женщины, которая привыкла, что на неё смотрят.

«Ну да, — подумала я с нервным смешком. — Я-то всю жизнь ходила, как человек, опаздывающий на маршрутку».

Потом — слова. Я попробовала сказать что-нибудь по-русски. «Мама». «Петербург». «Чёрт возьми». Вышло — но странно, с усилием, будто язык во рту был отлит под другие звуки. А когда я просто думала, что хочу сказать, не выбирая слов, — губы сами складывали чужую речь, певучую, с долгими гласными, и я её понимала, как понимают во сне. Она жила в этом теле, как умение плавать: не в голове, а где-то в мышцах.

И ещё было то, что у виска.

Когда я сосредотачивалась на чём-нибудь — на планшете, на двери, на светильнике у изголовья, — на самом краю зрения появлялись тонкие полупрозрачные строчки. Названия. Подсказки. «Светильник. Яркость: средняя». «Дверь. Заперта изнутри». Я моргнула — строчки исчезли. Сосредоточилась — вернулись. Я подумала «темнее» — и светильник послушно померк.

Я села обратно на постель и минуты три просто включала и выключала свет силой мысли, как ребёнок, которому дали фонарик.

Дома за такую штуку я бы отдала почку. Дома у меня был треснувший диктофон и ноутбук, который грелся, как утюг. А тут — пожалуйста: мир, подписанный, как музейная витрина. Смотри и читай.

«Только не привыкай, Морозова, — сказала я себе. — Всё, что подписано, подписал кто-то. И подписал так, как ему удобно».

Это было первое правило, которое я вывела в новом мире. Оно меня ни разу не подвело.

* * *

Я подняла глаза от планшета и долго смотрела в окно, на планету в кольцах.

Я ещё не знала почти ничего. Я не знала, что эта женщина за три дня до того, как я заняла её тело, подошла к своей правде так близко, что её за это убили — тихо, изящно, «естественными причинами». Я не знала, что крушение, которое она копала, — то самое, которое пережила девочка по имени Аэлара из списка на интервью, и что эта девочка окажется моей. Я не знала про маяк, про узлы, про то, что Артём за целый мир отсюда уже зажёг в темноте огонь и ищет нас всех, одного за другим.

Я знала ровно то, что знала всегда, в любой истории, с которой начинала: что есть большая, страшная, тщательно заровненная ложь — и что кто-то очень не хочет, чтобы её разложили на полосе.

И, как ни дико это звучит — в чужом теле, под чужими звёздами, оторванной от всех, кого я любила, — именно это меня успокоило. Потому что это я умела. Что бы ни случилось с миром, с телом, с именем — репортёр остаётся репортёром. Это как язык: его не отнять, даже если отнять всё остальное. Паника подождёт. Я записала её в график: вечер, после фактов.

А сначала — факты.

* * *

Я поднялась на чужие ноги — шатко, держась за гладкую прохладную стену, — и впервые за всё это время увидела себя целиком.

В стене напротив была зеркальная панель, и из неё на меня смотрела незнакомка. Высокая — выше, чем была я, на целую голову, — яркая, рыжая, с тяжёлым волнистым хвостом, с дымчатой, чуть смазанной сном подводкой вокруг чужих глаз и красным, ещё не стёртым следом помады на полных губах. На ней — на мне — был обтягивающий комбинезон из янтарно-оранжевой чешуи-мозаики, с чёрными геометрическими вырезами на плече, на боку, вдоль рёбер; дорогой, продуманный, из тех нарядов, которые не надевают, а надевают на себя как заявление.

И фигура.

Я оглядела эту фигуру с тем же деловитым, инвентаризирующим прищуром, с каким только что разбирала содержимое планшета, — и чуть не рассмеялась. Фигура была, прямо скажем, такая, что мужчина, разговаривая с её обладательницей, половину слов говорил бы куда-то в район её ключиц, а вторую половину забывал вовсе. Пышная, яркая, вызывающая. Полная противоположность мне, маленькой, незаметной, вечно в мешковатом свитере, — мне, которая всю жизнь брала не внешностью, а тем, что меня недооценивали.

И вот тут-то я и поняла первое важное про своё новое тело. Не ужаснулась, не застеснялась — поняла, по-рабочему.

— Ну здравствуй, — сказала я вслух, чужим голосом, на чужом языке, которого не учила. Голос оказался низким, с лёгкой хрипотцой. Красивый голос. Рабочий. — Сайра Веллан, значит.

Женщина в зеркале невесело усмехнулась мне в ответ, и в этой усмешке — чужой, незнакомой — вдруг мелькнуло что-то до боли моё. Будто за красивым рыжим лицом, за дымчатыми глазами и красными губами пряталась та же упрямая, невезучая, не умеющая вовремя замолчать девчонка, что и во мне. Будто мы с этой мёртвой женщиной были, в сущности, одной породы — просто ей досталась роскошная оболочка, а мне свитер.

— Знаешь, — сказала я ей, — у меня было правило. Всё, что людям в тебе мешает принимать тебя всерьёз, — пускай. Пусть смотрят не туда. Пока они смотрят не туда, ты смотришь куда надо. Меня всю жизнь недооценивали из-за того, что я мелкая и в свитере. Тебя, я уж вижу, недооценивали из-за обратного. А инструмент-то один и тот же. Пусть пялятся в декольте и болтают лишнее. А мы с тобой послушаем.

Женщина в зеркале кивнула. Мне показалось — одобрительно.

Я поправила чужой рыжий хвост. Подняла со столика пишущую иглу и привычным — чужим, но уже почти своим — движением сжала её в пальцах.

— Ладно, — сказала я своему отражению, и это было первое обещание, которое я дала в новом мире, и, как выяснилось, единственное, которого я ни разу не нарушила. — Разберёмся. Ты начала — я допишу. Что бы это ни было.

* * *

И только когда я уже повернулась к двери, я заметила ещё одно.

Оно было тихое — такое тихое, что я сперва списала его на звон в ушах после долгого, ненормального сна. Что-то на самом краю. Не звук. Не мысль. Какое-то… направление. Будто где-то очень далеко, невозможно далеко, внизу, под станцией, под облаками планеты в кольцах, чуть заметно теплело — и это тепло звало, тихо, настойчиво, без слов, как зовёт из тёмной комнаты оставленная кем-то гореть свеча: ты её не видишь, но знаешь, в какой она стороне.

Я замерла, прислушиваясь к этому чужому новому чувству, которого у меня, у Насти, никогда не было, а у этого тела — с его светящимися линиями и металлом в виске — похоже, было.

Не разобрала ничего. Слишком слабо, слишком далеко. Я повертела головой, пытаясь понять, откуда оно, — и оно не отстало, не сместилось от поворота головы, осталось там же, внизу и вдаль, будто было привязано не к станции, а к самой планете. Это меня озадачило, но ненадолго. Я решила, что чужое тело просто подаёт какие-то свои незнакомые сигналы, к которым я ещё не привыкла, — мало ли что у него тут светится и тлеет под кожей, мало ли какие у здешних людей чувства, которых нет у нас. Отложила в тот же ящик, что и всё непонятное: «разберёмся позже».

Я ошибалась. Это было не тело.

Это кто-то очень далеко зажёг в темноте огонь и светил им на весь мир, надеясь, что кто-нибудь откликнется. Это Артём, сам того не зная, уже держал меня за руку через целый мир — я просто ещё не умела узнать его прикосновение.

Но тогда я этого не знала. Я поправила рыжий хвост, спрятала пишущую иглу поближе к сердцу — в потайной, как я скоро выясню, карман, будто Сайра шила этот наряд с расчётом на то, что иглу придётся прятать, — и пошла искать разговорчивых.

Я повернулась к двери, за которой ждал целый неизвестный мир.

И пошла узнавать, кто я теперь — и зачем меня сюда послали.

# Глава 2. Ясность

Выйдя из своих покоев, я первым делом чуть не ослепла.

Коридор станции был залит светом — не резким, не больничным, а тем ровным, рассеянным, отовсюду идущим светом, который стоит безумных денег именно потому, что его не замечаешь. Стены текли. Я не нахожу другого слова: белые, гладкие, они изгибались и перетекали друг в друга, как застывшее молоко, без единого прямого угла, без единого шва. Пол под ногами был тёплым и слегка пружинил, будто шёл тебе навстречу. По левую руку, за прозрачной перегородкой, падал водопад — настоящий, живой, он срывался откуда-то сверху и, не долетая до пола, рассыпался в светящийся туман, и туман этот медленно всплывал обратно, чтобы упасть снова, в бесконечном, бессмысленном, завораживающем круговороте.

Красиво было так, что становилось нехорошо.

Я постояла, привыкая к чужим глазам, которые видели резче и дальше моих, различали оттенки, которых я, Настя, не знала и не умела назвать. И пока я стояла, во мне, как всегда, параллельно шли два человека.

Один — Настя-человек — задирал голову на водопад, ахал на текучие стены и тихо паниковал от того, как всё это огромно, богато и чуждо.

Другая — Настя-репортёр — холодно переписывала обстановку в блокнот, которого не было, но который всегда есть у меня в голове, сколько себя помню. Где камеры. (Вон, в узлах сводов — матовые полусферы, частые, слишком частые для курорта; на курорте не следят так плотно за теми, кто приехал отдыхать и тратить деньги.) Кто здесь главный. (Пока неясно, но главный точно есть: такой порядок сам не заводится, за такой тишиной и гладкостью всегда стоит чья-то очень твёрдая рука.) Кто обслуга. (Девушки в белом, с одинаковыми мягкими улыбками, скользят вдоль стен, и улыбки эти надеты так же ровно, как форма; живого лица под ними не разглядеть.) И кто тут разговорчивый. (А вот это мне и предстояло выяснить — и это, я уже знала, самое важное.)

«Запоминай всё, — сказала себе я, идя по текучему коридору и стараясь не слишком пялиться по сторонам, чтобы не выглядеть деревенщиной, хотя деревенщиной я себя и чувствовала. — Ты не знаешь, что из этого окажется важным. Важным всегда оказывается то, на что ты не обратила внимания. Так что обращай внимание на всё».

* * *

За первый час я узнала о себе — о Сайре Веллан — больше, чем иной человек знает о соседе за десять лет.

Я узнала это не из планшета. Я узнала это из того, как со мной разговаривали. Люди ведь не описывают тебе, кто ты, — они это *показывают*, самим способом, которым к тебе обращаются. Надо только уметь читать.

Мимо шёл холёный господин в летах, из тех гостей, у кого деньги давно перестали быть вопросом и превратились в воздух, — и, поравнявшись со мной, он притормозил, скользнул взглядом сверху вниз, задержался ровно там, где и задерживаются такие взгляды, и отвесил мне комплимент, гладкий и пустой, как здешние стены. Что-то про то, что даже среди здешних чудес встречаются чудеса, затмевающие прочие. Пошло, заученно, но с той спокойной уверенностью, с какой говорят люди, привыкшие, что их пошлости принимают за любезности.

Я ответила ему улыбкой — и с удивлением почувствовала, как чужое лицо само собой сложило эту улыбку: чуть снизу вверх, чуть лениво, чуть обещающе. Улыбка, которой я, Настя, в жизни не умела, сколько ни репетировала перед зеркалом в юности. Улыбка, которой отлично умела Сайра. Тело помнило её, как помнило пишущую иглу, — эта женщина улыбалась так тысячи раз, и мышцы заучили движение намертво.

Господин приосанился, сказал ещё что-то, уже глупее, задержался на полшага дольше приличного — и уплыл дальше, страшно довольный собой, явно уверенный, что произвёл неизгладимое впечатление.

Я проводила его взглядом и подумала: ага.

Вот, значит, как ты работала, Сайра Веллан.

* * *

Я не ханжа. Никогда не была. У меня на земле было правило, простое и честное, которое меня не раз выручало: всё, что мешает людям принимать тебя всерьёз, — твой союзник, если ты умеешь этим пользоваться.

Я была молодая, и меня не принимали всерьёз из-за возраста — «деточка, иди поучись сперва». Я была женщина, и меня не принимали всерьёз из-за этого — «что эта пигалица может накопать». Я была маленькая, неприметная, вечно в мешковатом свитере — и меня не замечали, проходили мимо, не считали за человека, способного быть угрозой. И вместо того чтобы биться об это лбом, обижаться и доказывать, я давным-давно научилась превращать это в инструмент. Пусть собеседник думает, что перед ним хорошенькая глупышка, которая ничего не понимает и ничем не опасна, — и расскажет хорошенькой глупышке, которая ничего не понимает, втрое больше, чем рассказал бы серьёзному коллеге-мужчине в хорошем костюме. А потом хорошенькая глупышка идёт домой и раскладывает его болтовню на полосе, и серьёзный мужчина в хорошем костюме, читая утром газету, давится кофе.

Сайра Веллан довела этот же приём до совершенства — просто у неё в руках оказался инструмент помощнее моего. Я оглядела себя ещё раз, уже без паники, деловито, как осматривают выданную на задании технику. Да. С таким, прямо скажем, оснащением мужчины в этом мире будут выбалтывать мне нужное, глядя куда угодно, только не мне в глаза, и ещё гордиться, какие они были интересные собеседники.

Что ж. Неловко было только первые полчаса. Мне, Насте, в теле с таким декольте, под такими взглядами, поначалу хотелось закрыться руками и убежать. А потом я вспомнила, зачем я здесь и что поставлено на кон, и решила, что ханжество — непозволительная роскошь для человека, которого, возможно, скоро попытаются убить. А в том, что попытаются, я уже почти не сомневалась — слишком плотно висели камеры, слишком ровно улыбалась обслуга, слишком отчётливо пахло теми самыми спокойными деньгами, которые всегда кого-то не пускают в рай.

Тело — инструмент. Любое. И это, доставшееся мне, — тоже. Грех не пользоваться тем, что есть.

* * *

Первое настоящее испытание случилось раньше, чем я рассчитывала, — за завтраком.

Я нашла ресторан по запаху и по строчкам-подсказкам: «Утренняя терраса. Открыто для гостей первой категории». Гостьей первой категории, как выяснилось, была я — аккредитация «Ясности» приравнивала меня к людям, которым не задают вопросов. Меня усадили у прозрачной стены, за которой падала вода, и принесли то, что, судя по всему, Сайра заказывала всегда: что-то воздушное, сладкое, цветочное, и к нему — горячий тёмный напиток, пахнущий дымом. Я попробовала. Напиток был горький и прекрасный. Хоть в чём-то мы с ней совпали.

— Госпожа Веллан! Какая радость видеть вас на ногах!

Я подняла глаза.

У моего столика стоял человек в белом. Немолодой, гладкий, с лицом, на котором улыбка лежала так ровно, будто её нанесли кистью. В руке у него был бокал с чем-то искрящимся — с утра. За его плечом маячили две девушки из обслуги.

Я его не знала. Но тело — знало.

Это было самое странное ощущение за всё утро: я ещё не успела ничего подумать, а у меня уже похолодели ладони, подобрался живот и где-то под рёбрами сжалось то самое, что сидело там, как синяк. Тело помнило этот голос. Помнило этот бокал. И боялось.

— Вы нас так напугали, — продолжал он, и голос у него был тёплый, заботливый, как у врача из рекламы. — Мне доложили — обморок, прямо на пороге. Я немедленно распорядился: лучший уход, полный покой. Как вы себя чувствуете?

Он смотрел на меня очень внимательно.

Слишком внимательно для человека, который просто рад. Он смотрел так, как смотрят на вещь, которая должна была сломаться и почему-то работает. Искал — я видела, как бегают его зрачки, — искал во мне что-то. Страх. Память. Понимание.

И я, ещё не зная ни его имени, ни того, что он приходил к Сайре с этим самым бокалом за час до её смерти, — я сделала единственное, что подсказало мне чутьё.

Я стала дурой.

— Ох, — сказала я и прижала пальцы к виску, чуть поморщившись. — Вы так добры. Представляете — ничего не помню! Совсем. Последнее — как распаковывала платья. А потом уже утро, и мне говорят: обморок. — Я засмеялась, легко, глуповато. — Наверное, перелёт. Я ужасно переношу перелёты, а тут ещё эта ваша планета в окне — на неё посмотришь, и голова кругом.

Что-то в его лице едва заметно разжалось.

— Совсем ничего? — переспросил он мягко.

— Совсем! Даже обидно. Говорят, меня несли на руках, — а я и не узнаю, кто был тот герой.

Он рассмеялся. Девушки за его плечом рассмеялись следом, на полтакта позже.

— Берегите себя, госпожа Веллан, — сказал он. — Орбита коварна. Никакой работы хотя бы день-другой. Пишите о приятном. У нас так много приятного.

— Только о приятном, — пообещала я, глядя на него снизу вверх её верящими глазами. — Я за этим и приехала.

Он поклонился и уплыл между столиками.

А я сидела, держала обеими руками горячую чашку, чтобы не было видно, как дрожат пальцы, и медленно понимала, что сейчас произошло. Меня только что проверили. Пришли посмотреть, что осталось в голове у женщины, которая должна была не проснуться. И я — наугад, на одном инстинкте — дала единственно верный ответ: ничего. Пусто. Обморок стёр последний вечер, как стирают с доски.

Журналистка, которая всё помнит, опасна.

Журналистка, которая ничего не помнит и хочет писать о приятном, может пожить ещё.

Я допила горький напиток до дна и записала в свой невидимый блокнот: человек в белом. Бокал. Тело его боится. Выяснить, кто он.

* * *

Второе испытание пришло через час, и к нему я была готова ещё меньше.

Планшет на столике в покоях засветился и тихо запел. Строчка у края зрения подсказала: «Входящий вызов. Редакция. Орн».

Орн. Редактор. Тот, кто подписывал Сайрины задания.

У меня пересохло во рту. Одно дело — изображать дурочку перед незнакомцем. Другое — говорить с человеком, который знал Сайру двенадцать лет. Знал, как она дышит, как шутит, как молчит. Один неверный тон — и он поймёт, что в её теле сидит кто-то другой.

Я могла не отвечать. Сослаться на обморок, на покой.

Но не ответить редактору — это тоже ответ. Причём такой, после которого начинают беспокоиться и присылать кого-нибудь проверить.

Я выдохнула, поправила рыжий хвост, будто это могло помочь, и коснулась планшета.

Над столом встало лицо. Пожилое, серое, с глубокими складками у рта и старой, потемневшей пластиной на виске. Глаза — умные, усталые, из тех, что видели слишком много и давно перестали удивляться. Он посмотрел на меня — и я увидела, как у него дрогнули веки.

— Жива, — сказал он. Не «здравствуй», не «как ты». Просто — «жива». И в этом одном слове было столько, что я чуть не забыла свою роль.

— Жива, — подтвердила я. И, поймав откуда-то из глубины тела её интонацию — суховатую, с ленцой, — добавила: — Не дождётесь, Орн.

Он коротко, беззвучно усмехнулся. Попала.

— Мне сообщили про обморок.

— Мне тоже. — Я пожала плечом. — Я, говорят, эффектно упала. Жаль, не видела.

— Сайра. — Он подался ближе, и голос у него стал совсем тихим. — Ты там… отдыхаешь? Как договаривались?

Вот оно. Я услышала этот вопрос — и услышала второй, под ним, настоящий. Так спрашивают, когда нельзя спросить прямо. Когда канал могут слушать. Он спрашивал не про отдых. Он спрашивал: *ты бросила то, что я велел бросить?*

И я поняла про этого старого усталого человека сразу две вещи. Что он знает, чем она занималась. И что он боится — не её, а за неё.

— Отдыхаю, — сказала я, глядя ему прямо в глаза. — Пишу про крылатых деток. Тёплое, человечное. Вы же сами говорили — людям нравится тёплое.

Он долго смотрел на меня. Я не отводила взгляда. Я понятия не имела, что он видит, — ту же Сайру или кого-то, кто очень старательно её изображает. Мне показалось — на одну секунду показалось, — что он заметил. Что-то в повороте головы, в паузе, в том, как я сложила руки. Что-то не её.

Но он только кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Пиши про тёплое. И, Сайра… — Он помедлил. — Что бы ты там ни увидела. Что бы тебе ни показалось. Сначала возвращайся. Потом разговаривай. Только со мной. Только лично. Ты поняла?

— Поняла.

— Нет, ты повтори.

Я повторила. Слово в слово. Как повторяют инструкцию по технике безопасности.

Он кивнул ещё раз — и лицо над столом погасло.

Я осела на постель.

«Только со мной. Только лично». Значит, у Сайры был человек. Не друг — друзей у таких, как она и я, обычно не бывает, — но кто-то, кто стоял на её стороне, насколько мог себе позволить. Кто-то, кому она, возможно, и собиралась «передать всё, что у меня есть», когда шла к двери. «Одному человеку внизу, которому…» — которому она верит?

Или которому она верила зря?

Я не знала. Двенадцати лет общей работы у меня с Орном не было. У меня была одна минута разговора и чутьё. Чутьё говорило: он не враг. Но оно же говорило: человек, который тридцать лет выживает в «Ясности», умеет выживать за чужой счёт.

Я записала и это. С вопросительным знаком.

* * *

Про «Ясность» я поняла всё за одну сцену.

В галерее, выходившей на обзорную палубу, висел большой живой экран — вещательная панель, как я потом узнала, такие были по всей станции, в каждой галерее, в каждом зале, негромкие, ненавязчивые, всегда включённые. Я встала в сторонке, облокотилась на тёплый парапет — за которым, в полуметре и в бесконечности, плыла планета в кольцах, — и стала смотреть и слушать, впитывая язык, интонацию, то, как этот мир сам себе рассказывает про

себя. Это, кстати, лучший способ понять любое место: не читать, что оно про себя пишет, а слушать, каким голосом оно это пишет.

Диктор — безупречный, спокойный, с голосом, в котором хотелось жить, — рассказывал о чём-то, что в переводе на мою земную жизнь было бы «волнения в нижних секторах». Только он не говорил «волнения». Он говорил «временные неудобства в работе распределительных узлов, оперативно устраняемые заботой Совета». Он не говорил «людей разогнали». Он говорил «порядок восстановлен к общему облегчению». Он показывал картинку — чистые улицы, спокойные лица, — и ни единого намёка на то, что было до того, как улицы стали чистыми, а лица спокойными.

Потом пошло другое: про достижения, про новые свершения касты учёных, про щедрость какого-то Возвышенного, пожертвовавшего на благо нижних ярусов (камера любовно скользила по его холёному лицу). Каждое острое слово было обёрнуто в три мягких, каждый угол заглажен, каждая кровь вытерта насухо прежде, чем попасть в кадр. Мир, который показывала эта панель, был прекрасен, спокоен и справедлив. Мир, в котором виновных нет никогда.

Это была «Ясность».

Я стояла, слушала этот мёд, и во мне поднималось что-то знакомое, злое и родное. Я ведь тоже работала на такое. У нас это называлось иначе, у нас это даже ругали вслух, но суть была та же: есть правда, а есть то, что про неё можно сказать вслух, и между ними — редактор, который вычёркивает разницу, и чем выше поднимаешься, тем аккуратнее надо вычёркивать. Меня выгнали ровно за то, что я однажды отказалась вычёркивать. За один-единственный материал, который редактор велел «пригладить», а я не пригладила, и он вышел с острым углом, и об этот угол оцарапался кто-то, кому царапаться не полагалось. И меня не стало — в профессии. Красиво, без скандала: «сокращение штата».

А Сайра Веллан — я это уже чувствовала, читая её планшет, — Сайра Веллан двенадцать лет вычёркивала послушно и всё эти двенадцать лет ненавидела себя за это ровно так же, как возненавидела бы себя я. Мы были одной породы. Просто ей хватило терпения на двенадцать лет, а мне — только на три.

Издание называлось «Ясность».

Я смотрела на экран и думала: до чего же точно вы его назвали, сволочи. До чего точно. Орган, чьё имя — «ясность», существует ровно для того, чтобы её не было. Настоящую ясность в этом мире, похоже, добывают не благодаря «Ясности», а вопреки ей. Как и у нас, в сущности. Везде одно и то же. Миры разные, звёзды чужие, а механика лжи — одна на всю вселенную, будто её выдавали по единому образцу.

«Что ж, — подумала я, и это была уже не Сайра, это была чисто я, Настя, с моим фирменным упрямством, за которое меня и выгнали. — Значит, добудем вопреки. Не впервой».

* * *

Я побродила ещё по верхним ярусам, впитывая, приглядываясь, привыкая к чужому телу и чужому миру.

Я узнала — из обрывков чужих разговоров, из вещательных панелей, из того, как держались и одевались люди, — что мир этот устроен жёстко и сложно. Что правит им некий Совет Равновесия, о котором говорили с той особой ровной почтительностью, с какой говорят о том, чего боятся. Что люди здесь делятся на касты и ещё на что-то сверх каст, на каких-то Возвышенных, перед которыми заискивали даже богатые гости курорта. Что есть верх и есть низ, и верх живёт в раю вроде этого, а низ — в тех самых «нижних секторах», где случаются «временные неудобства». Знакомая конструкция. Я видела такие и дома, только дома их стеснялись, а тут, кажется, гордились.

И ещё я узнала — не словами, а тем особым чутьём, которое у меня вместо шестого чувства, — что за всем этим сияющим, гладким, медовым миром стоит страх. Тихий, ровный, въевшийся. Люди здесь улыбались слишком одинаково. Молчали слишком вовремя. Переста-

вали говорить, едва разговор подходил к краю. Так ведут себя не счастливые — так ведут себя приученные. Я это знала. Я из такого мира приехала.

* * *

Вернувшись в покои, я сделала то, что делала всю сознательную жизнь в любой непонятной ситуации.

Я завела дневник.

У Сайры, конечно, был свой — служебный, в планшете, вылизанный, для редактора. Я его трогать не стала, только проглядела одним глазом: ровные заметки, дежурные, ничего живого; так и должно быть, живое Сайра держала в другом месте, как и я. Мне нужен был другой дневник — тайный, настоящий, мой. Тот, в который пишут не то, что можно, а то, что есть.

На земле у меня была толстая тетрадь в клеёнчатой обложке, которую я прятала за батареей в своей съёмной комнате. Я исписывала такие одну за другой с четырнадцати лет и ни одной живой душе не показала ни строчки. В дневник шло то, чему нельзя было больше никуда: имена, которые опасно произносить вслух, догадки, за которые ещё нет доказательств, страх, который нельзя показывать источникам, и злость, которую нельзя показывать никому. Дневник был моим единственным местом, где я была собой до конца. Я, пожалуй, и в профессию-то пошла из-за этой тетради — потому что в какой-то момент поняла, что не могу не записывать, что непрожитое, незаписанное событие для меня как будто и не случилось.

Здесь тетради за батареей не было. Но я нашла в планшете способ завести закрытую, запертую на мой — Сайрин — голос запись, куда не было хода ни редактору, ни, я надеялась, этим слишком частым камерам. Я повозилась с этим с полчаса, пока не убедилась, что запись и правда закрыта, что её не вытащат простым нажатием. Паранойя? Возможно. Но паранойя — это профессиональное заболевание, без которого в моём деле долго не живут. А, как я вскоре узнаю, в этом мире — не живут вообще.

И, сев на край роскошной постели, под планетой в кольцах, я начала первую запись в новом мире.

Я диктовала тихо, своим — её — низким голосом, и это было до странности похоже на молитву.

«Запись первая. Я не знаю, какое сегодня число и есть ли тут вообще числа. Я проснулась не собой.

Меня зовут… меня *звали* Анастасия Морозова, двадцать три года, Петербург, журналист без работы и без иллюзий. Теперь меня зовут Сайра Веллан, и у меня чужое лицо, чужие волосы, чужая, прямо скажем, выдающаяся фигура и металл в виске. Я на орбите, над планетой в кольцах, в мире, который называет сам себя так красиво, что ясно: он насквозь лжёт.

Моих здесь нет. Пока нет. Я не верю, что нет совсем, — я не разрешаю себе в это верить, это пункт „вечер, после фактов“.

Факты такие. У тела, в котором я живу, было два дела. Первое — официальное: мило поговорить с крылатыми детьми про их светлое будущее. Второе — спрятанное: крушение в месте под названием Гамма-4, которого, если верить этой женщине, не было. Кто-то уронил шаттл с учёным. Кто-то не хочет, чтобы об этом знали. И кто-то, я почти уверена, уже из-за этого приходил к Сайре — слишком уж аккуратно она замолчала навсегда, слишком роскошный номер ей дали напоследок, будто откупались.

Вывод. Меня забросило не в пустое тело. Меня забросило в середину чужого расследования — и, кажется, прямо на линию огня.

Что ж. Не впервой. Дома было то же самое, только без планеты в кольцах и без, будем честны, такого бюста.

Начинаю с того, с чего всегда. С малого. С того, кто тут разговорчивый. Потому что мир объясняют не те, кто им правит, а те, кто его убирает».

Я остановила запись. Посидела. Чужие пальцы с перламутровыми ногтями лежали на коленях спокойно, как будто это были не мои первые часы в новом мире, а обычное утро перед обычной работой.

И от этого спокойствия мне вдруг стало легче, чем за весь этот бесконечный день. Потому что дневник вернул мне меня. Пока я могу записывать — я есть. Какое бы ни было тело, какое бы ни было небо.

* * *

И только потом, уже встав, чтобы идти, я снова заметила его.

То дальнее тёплое.

Оно никуда не делось за день — просто я была слишком занята, чтобы к нему прислушиваться. А теперь, в тишине покоев, под текущую из-за стены поющую воду, оно проступило опять: тихое, настойчивое, где-то далеко внизу, под станцией, под облаками планеты в кольцах. Будто там, в неизмеримой дали, чуть заметно теплело — и это тепло звало.

Я замерла, прислушиваясь к этому чужому новому чувству.

Не звук. Не мысль. Я уже говорила, но повторю, потому что это было важно и потому что я тогда полночи пыталась подобрать этому слова и не могла: это было как узнавание. Знаете, как в толпе чужого города вдруг мелькнёт что-то неуловимо родное в чьей-то походке, и сердце ёкнет, прежде чем ты успеешь сообразить, на кого этот человек похож? Вот так. Будто среди бесконечного чужого шума этого мира — а мир, я уже чувствовала своим новым телом, был полон какого-то ровного фонового гула, которого моё земное тело не слышало, — будто среди всего этого гула пробивалась одна-единственная нота, настроенная на меня. Тёплая. Знакомая. Своя.

Кто-то звал.

Я тряхнула головой. Это было слишком — слишком непонятно, слишком не раскладывалось на полосу, а я к ночи первого дня в чужом мире была уже не в том состоянии, чтобы разбираться с необъяснимым.

— Нервы, — сказала я вслух, своим низким чужим голосом. — Это просто нервы, Морозова. Чужое тело, чужие сигналы. Спи.

Я не стала записывать это в дневник. Про дальнее тёплое — не стала. Сама не знаю почему. Наверное, потому, что это была единственная за весь день вещь, которую я не могла разложить на полосе, — а то, что не раскладывается, пугает меня больше всего на свете. Больше чужого тела. Больше чужих звёзд. Больше даже тех, кто убил Сайру.

Я ошибалась, конечно. Это были не нервы.

Это кто-то очень далеко зажёг в темноте огонь и светил им на весь мир, надеясь, что кто-нибудь откликнется. И я откликалась — всем своим новым, непонятным, пугающим меня чувством, — только пока не знала, что это отклик, и на кого.

Но тогда я этого не знала. Я поправила рыжий хвост, спрятала пишущую иглу поближе к сердцу — и легла спать, впервые в чужом теле, под чужими звёздами, не зная, что уже не одна.

# Глава 3. Как дышит курорт

Чтобы понять место, надо понять, кто в нём убирает.

Это правило я вывела ещё в Петербурге, лет в девятнадцать, когда писала свой первый настоящий материал — про один дорогой ресторан, где травили клиентов просроченной икрой, а потом откупались, чтобы те молчали. Хозяин ресторана не сказал мне ни слова — вышвырнул с порога. Метрдотель лгал красиво и складно, по заученному. А вот посудомойка, тётя Зина, выйдя покурить на задний двор в своих резиновых сапогах и засаленном фартуке, рассказала мне всё — спокойно, обстоятельно, со вкусом, — потому что её за десять лет работы никто ни разу ни о чём не спросил, и за это она ненавидела их всех ровно настолько, насколько было нужно, чтобы развязать язык. Я тогда напечатала материал, ресторан закрыли, а я поняла главное про свою будущую профессию: правда всегда живёт этажом ниже, чем её ищут. Не у хозяев. У тех, кто выносит за хозяевами мусор.

С тех пор, приходя в любое новое место, я первым делом ищу свою тётю Зину.

На Хорусе их было много — девушек в белом, скользящих вдоль текучих стен с одинаковыми мягкими улыбками, юношей, бесшумно катящих тележки, работников, чинящих, протирающих, разносящих. Но улыбки, я уже заметила, были надетые, а надетую улыбку, если подойти правильно, можно снять — и под ней почти всегда обнаруживается живой, усталый, всё про всех знающий человек. Надо только дать ему то, чего ему больше всего не хватает.

* * *

Я начала с девушки, разносившей напитки на обзорной палубе.

Её звали — она сказала, когда я спросила, и это уже был маленький успех, потому что их тут, похоже, по именам не спрашивали, — её звали Лисса. Тонкая, бледная, с чуть голубоватой, почти перламутровой кожей и влажными, слишком большими глазами; позже я узнаю, что она из тех, здешних, из прекрасных обитателей курорта, но тогда я просто увидела усталую девочку, которую все вокруг держат за часть мебели, за приятное дополнение к интерьеру, за говорящий поднос с напитками.

Я не стала ни о чём выспрашивать. Это ошибка новичков — сразу лезть с вопросами, выставив диктофон, как ствол. Опытный человек сначала даёт собеседнику то, чего ему не хватает, а усталой обслуге на роскошном курорте не хватает ровно одного: чтобы её увидели. Не оценили, не похвалили даже — просто увидели как человека, а не как функцию.

Так что я увидела.

Похвалила её причёску — искренне, причёска и правда была чудесная, сложная, с вплетённым мелким жемчугом, который словно сам рос из её живых, медленно шевелящихся, как водоросли, волос. Спросила, не она ли придумала так укладывать (она, она сама, и впервые за весь наш разговор надетая улыбка чуть поехала, приоткрыв живую, смущённую, настоящую). Сказала, что у нас в столице за такую причёску модницы бы передрались (я понятия не имела, что у них тут в столице, но попала — Лисса зарделась). Пожаловалась — вполголоса, доверительно, как жалуются своей, — на то, как тут всё устроено сложно и непонятно для приезжего человека, как легко заблудиться, и как она, Лисса, наверное, тут знает каждый закоулок, не то что я, бестолковая гостья.

Через десять минут Лисса знала каждый закоулок и с удовольствием мне его показывала — не ногами, словами, но для меня слова всегда были важнее ног. Через пятнадцать — рассказывала то, о чём её, кажется, и правда никто никогда не спрашивал.

* * *

Так я и узнала, как дышит курорт.

Хорус — я уже понимала это в общих чертах из планшета, но Лисса расцветила скучную справку живыми деталями, а живые детали и есть то, ради чего мы, репортёры, живём, — Хорус был не просто местом отдыха. Он был местом отдыха *для определённых людей*.

Сюда прилетали выпускники Академии Техносов — те, кому предстояло войти в касты повыше, будущие хозяева мира; их Лисса называла просто «академики» и относилась к ним с опасливой почтительностью. Сюда прилетали Возвышенные — про них Лисса говорила, понизив голос и округлив влажные глаза, как говорят о чём-то, что лучше не называть громко, будто само слово могло их призвать. Сюда прилетали члены семей, чьи фамилии что-то значили в Совете, — эти, по словам Лиссы, были хуже всех: смотрели сквозь обслугу, как сквозь стекло, и требовали, требовали, требовали.

— А простые? — спросила я небрежно, разглядывая свой бокал, в котором плескалось что-то золотое и, кажется, слегка светящееся. — Ну, вот как мы с тобой. Нам сюда можно?

Лисса посмотрела на меня странно — будто я сказала глупость, но вежливую глупость, которую стыдно поправлять в лицо.

— Вам можно, — сказала она осторожно. — У вас же аккредитация. Вы пишете про хорошее. Про хорошее — это важно, это сюда пускают, это даже зовут. — Она чуть запнулась, и в её влажных глазах мелькнуло что-то взрослое, усталое, не по возрасту. — А мне… я тут не отдыхаю. Я тут при курорте. Это другое. Совсем другое.

«При курорте». Я записала это в свой несуществующий блокнот жирными буквами, в рамочку. В каждом раю есть те, кто при рае. И они-то всегда знают про рай самое интересное — потому что рай для них не праздник, а работа, а на работе человек видит изнанку, которую праздному гостю не покажут ни за какие деньги.

* * *

Я провела с Лиссой ещё четверть часа — и за эти четверть часа вытянула, не задав ни одного прямого вопроса в лоб, целое расписание.

Где будут приёмы и когда. Где — закрытые ужины, куда не пускают прессу (ага, значит, есть куда не пускают прессу; запомнила, подчеркнула — там, куда не пускают прессу, и прячут самое вкусное). Где купаются; где слушают поющую воду; и — вот оно, то, за чем я, собственно, и затевала весь этот милый разговор про причёски, — где и когда назначена встреча с группой из Академии.

— Крылатые? — Лисса оживилась, и в голосе её мелькнуло что-то совсем новое — нежность, тёплая, живая, какой не было, когда она говорила про академиков и Возвышенных. — Молоденькие Аэрии, да? Они в Жемчужных садах, на нижнем ярусе. Их сюда присылают после первого года учёбы — на практику от Академии. А уже отсюда, прямо с Хоруса, они летят домой, на свой обряд. Они славные. Не как эти. — Она едва заметно, одними глазами, повела в сторону холёных господ у парапета. — Эти смотрят сквозь тебя, будто тебя нет. А крылатые смотрят. По-настоящему. На тебя. Как на человека. — Она понизила голос. — Один мальчик мне вчера сам принёс воды. Представляете? Мне. Увидел, что я с ног валюсь к концу смены, взял и принёс. Никто из гостей за три года ни разу… а он принёс.

Она сказала это с таким тихим изумлением, с такой беззащитной благодарностью за стакан воды, что у меня защемило сердце. Я-то знала, каково это — быть тем, кого не видят. Я всю жизнь была таким человеком. И знала, как много значит, когда тебя вдруг увидят.

— Как его звали? — спросила я мягко.

— Дариэль, — ответила Лисса. И, помолчав, добавила то, что я потом не раз вспоминала и что оказалось правдивее, чем она сама могла знать: — Он грустный. Красивый и грустный. У него внутри что-то сломано, у этого мальчика. Недавно сломалось. Я такое вижу. Мы, — она опять запнулась, подбирая слово, и в этой запинке было что-то, чего я тогда не поняла, — мы, здешние, такое видим. У кого внутри что сломано. Это у нас… ну, вроде как слух. Только не ушами.

Мы, здешние. Такое видим. Не ушами.

Я пока не поняла, что она имеет в виду. Я записала и это — тем же жирным почерком несуществующего блокнота, в рамочке, со знаком вопроса, — и, тепло попрощавшись и ещё раз похвалив причёску, пошла дальше. Лисса смотрела мне вслед, и я чувствовала спиной её взгляд — не подозрительный, а благодарный. Я дала ей то, чего ей не хватало. Я её увидела. Это стоило мне десяти минут и ничего не стоило по деньгам, а она запомнит это надолго. Так и работает моё ремесло: самая твёрдая валюта в нём — внимание, а печатают его бесплатно.

* * *

Вторым моим собеседником стал техник.

Его я нашла у служебной ниши, где он ковырялся в распахнутом боку одной из тех матовых полусфер под сводом — камер, которых тут было слишком много. Немолодой, с кибернетическими вставками на пол-лица, отчего одна его половина была живой и усталой, а другая — тускло-металлической и неподвижной; с тем особым выражением вечной обречённой усталости, какое бывает у людей, всю жизнь чинящих то, что ломают другие. Техник. С техниками у меня особые, нежные отношения — они, как и уборщицы, видят самую изнанку мира, знают, как он устроен под гладкой обшивкой, и при этом уверены, что никому до них нет дела.

К технику я подошла иначе, чем к Лиссе. Техника не надо *видеть*— техника надо спросить о его работе так, будто она сложная, важная и непостижимая для простых смертных, потому что она и правда сложная и важная, а говорят ему об этом хорошо если раз в десять лет. Техник млеет не от внимания к себе — от внимания к своему делу.

Я спросила. Показала на распахнутую камеру, округлила глаза, сказала что-то про то, как же это всё, наверное, тонко настроено, и неужели он во всём этом разбирается. Он посветлел своей живой половиной лица. И следующие двадцать минут объяснял мне — специальному корреспонденту «Ясности», которая, конечно же, ничего не смыслит в технике, но так мило, так искренне интересуется, — объяснял, как тут всё устроено.

Большую часть я не поняла — там были слова, которых не знало даже моё новое тело с его чужой памятью. Но два факта я вычленила и спрятала поглубже, в тот самый несуществующий блокнот, в самую его серёдку, где у меня лежит то, что может оказаться важным.

* * *

Факт первый. Камер действительно было слишком много. Техник, ворча, сам на это пожаловался — не мне, а так, в пространство, как жалуются на начальство: мол, зачем столько, на курорте-то, где все и так на виду и всем всё можно.

Факт второй, и от него у меня похолодело внутри. Поставили эти лишние камеры — он обронил это между делом, продолжая ворчать, — не так давно. «Полгода как понавешали. Распоряжение сверху, без объяснений, за одну ночь всё переделали, а чинить теперь мне до скончания века». Полгода назад.

Я улыбнулась, поддакнула, посочувствовала его нелёгкой доле — и мысленно сверила эту дату с папкой «Гамма-4» в планшете Сайры.

Сайра взялась за крушение полгода назад.

И полгода назад на курорт, куда её потом так удобно сослали «отдохнуть и написать про хорошее», за одну ночь понавешали лишних глаз.

Может, совпадение. В нашем деле девяносто совпадений из ста — это совпадения, и хороший репортёр это помнит, чтобы не сойти с ума, не увидеть заговор в каждой тени. Но одно из ста — не совпадение. И отличить это одно от девяноста — и есть всё наше ремесло, вся его соль. Чутьё сказало мне: это — то самое одно. Я не стала спорить с чутьём. Оно меня редко подводило — даже когда я очень хотела, чтобы подвело.

* * *

Третьим — и самым трудным — оказался Возвышенный.

Я не искала его. Он нашёл меня сам — в галерее у обзорной палубы, где я стояла, делая вид, что любуюсь кольцами планеты, а на самом деле считала камеры. Он подошёл неслышно, как подходят люди, которым никогда в жизни не приходилось уступать дорогу, и остановился рядом. Не слишком близко — ровно на том расстоянии, которое давало понять: он может подойти ближе, если захочет, и это будет его решение, а не моё.

— «Ясность», — сказал он, глянув на значок у меня на груди. Голос у него был спокойный, глубокий, с лёгкой скукой, какая бывает у людей, видевших всё. — Я думал, Орн больше никого сюда не присылает. После прошлого раза.

Строчка у края зрения услужливо подсказала: «Тарвен Ольд. Статус: Возвышенный. Энергетический сектор». Я мысленно поблагодарила железо у виска и улыбнулась самой ленивой улыбкой Сайры.

— А что было в прошлый раз?

Он посмотрел на меня — впервые прямо — и я увидела, что глаза у него совсем не скучающие. Холодные, внимательные, быстрые. Глаза человека, который скупил половину энергомощностей сектора не потому, что ему везло.

— В прошлый раз ваш коллега написал, что на Хорусе слишком много денег и слишком мало вопросов, — сказал он. — Остроумно. Его перевели в отдел погоды. — Тарвен Ольд улыбнулся одними губами. — Вы ведь не собираетесь писать про деньги, госпожа?..

— Веллан. — Я протянула руку так, как, кажется, протягивала Сайра: ладонью вниз, будто для поцелуя, но с такой насмешкой, что целовать было неловко. — И нет, господин Ольд. Я пишу про крылатых детей. Про надежды. Про будущее. Это гораздо безопаснее денег.

— Про будущее, — повторил он, и в голосе мелькнуло что-то странное. — Про будущее сейчас пишут охотно. Все вдруг стали очень интересоваться будущим.

Он не взял мою руку. Но и не отошёл. Постоял, глядя на кольца, а потом сказал, будто между делом:

— Сегодня вечером в Лунном зале закрытый ужин. Для своих. Прессу туда не пускают. Но если вы придёте со мной, на вас никто не посмотрит. — Пауза. — Вернее, посмотрят все. Но спрашивать ни о чём не станут.

Я поняла сразу две вещи. Первое: мне только что предложили войти туда, куда «Ясность» не пускают никогда. Второе: за это придётся платить — и не деньгами.

«Мужчина, засмотревшийся в вырез, выбалтывает на три вопроса больше, — сказала мне в голове Сайра, сухо, по-деловому. — Но этот засмотрелся не в вырез. Этот смотрит в глаза. Осторожнее, девочка».

— Я подумаю, — сказала я. — У меня строгий редактор.

— Орн? — Тарвен Ольд коротко рассмеялся. — Орн очень хороший человек. Он никого никогда не спас. Но он очень старался.

И ушёл, оставив меня с этой фразой, как с занозой.

* * *

На ужин я не пошла. Не потому, что испугалась, — хотя испугалась, честно. А потому, что чутьё, которому я верю больше, чем глазам, сказало ясно: это не приглашение. Это проверка. Человек, который знает про «прошлый раз», знает и про Сайру. И хочет посмотреть, полезет ли она туда, куда её не звали. Если полезет — значит, ничего не забыла.

Забывшая всё журналистка, которая пишет про надежды, на закрытые ужины к Возвышенным не ходит.

Вместо ужина я пошла туда, где правду не прячут за дорогими дверями, — к людям, которые эти двери открывают.

* * *

Ночную смотрительницу гостевого яруса звали Нэви.

Её я выбрала не случайно. В медицинской отметке Сайры было сказано: «обнаружена персоналом». Персоналом — значит, кем-то конкретным. Кем-то, кто нашёл её на пороге. Кто, может быть, видел, как она падала. Или видел, кто был рядом.

Я отыскала её по графику дежурств — подсмотрела расписание на служебной панели, пока Лисса отвлекала дежурного болтовнёй. Нэви оказалась немолодой, крепкой, с короткими седыми волосами и руками, привыкшими к работе. Не из здешних, не из прекрасных фейри — обычная женщина из нижних секторов, приехавшая на заработки.

Я пришла к ней в конце её смены, с двумя чашками того самого горького напитка, пахнущего дымом.

— Это вы меня нашли? — спросила я прямо. Иногда прямо — лучше всего. Особенно с теми, кто всю жизнь слышит только обиняки.

Нэви взяла чашку. Посмотрела на меня долго, тяжело. И кивнула.

— Я, — сказала она. — Иду по ярусу, вижу — дверь открыта, вы лежите на пороге. Белая, как стена. Я думала — всё. Не дышите. Я, знаете, видала такое. У нас в секторе часто. — Она отпила. — Я давай вас трясти. А вы не дышите. Минуту, может две. Я уже за службой бежать хотела, и тут вы — вдох. Как утопленница. Глаза не открыли, но задышали. Я вас и оттащила на кровать.

— А служба?

— Служба пришла потом. — Нэви поставила чашку и понизила голос. — И не одна. С ним пришла. С распорядителем. В белом. Он посмотрел на вас, потом на меня. И говорит: обморок, переутомление, гостья перетрудилась. Запиши так. И ещё говорит: ты ничего такого не видела, Нэви. Она просто упала. Просто упала, поняла?

— И вы поняли.

— Я из нижних секторов, госпожа. — Нэви посмотрела мне прямо в глаза. — У нас это понимают с первого раза. Когда человек в белом говорит тебе, что ты ничего не видела, — ты ничего не видела. Иначе завтра тебя самой не видно.

Мы помолчали.

— Почему вы мне рассказываете? — спросила я тихо.

Нэви долго не отвечала. Потом сказала — без всякой сентиментальности, как говорят о погоде:

— Потому что вы не дышали. А потом задышали. Я такого не видела никогда. Мёртвые у нас не возвращаются. А вы вернулись. — Она пожала плечами. — Значит, вам зачем-то надо было вернуться. Ну и… пусть вы знаете. Чтобы не зря.

Я сжала её жёсткую рабочую руку.

— Не зря, — пообещала я.

* * *

Возвращаясь от Нэви, я задержалась у панорамного окна грузового яруса — того, откуда видны причалы.

Там, в черноте, медленно подходил к станции шаттл — неуклюжий, тяжёлый, совсем не похожий на гостевые лайнеры. Грузовой. Строчка у края зрения подсказала: «Рейс: Сурнус — Хорус. Груз: снабжение». Я смотрела, как он причаливает, как из его брюха выползают контейнеры, как их подхватывают и тащат куда-то вниз, в служебные ярусы, мимо всех гостевых галерей.

Снабжение. Курорту нужно снабжение — еда, вино, цветы, жемчуг для причёсок. Ничего странного.

Только вот контейнеры уходили не туда, где кухни и склады. Они уходили ниже. Глубже, чем я пока бывала. Туда, куда не вели ни одни гостевые лифты.

Я не знала тогда, что это значит. Но я записала номер рейса. И время. И то, куда ушли контейнеры. На всякий случай.

В нашем деле «на всякий случай» потом очень часто оказывается главным.

* * *

К вечеру — если тут был вечер; свет станции просто стал гуще, золотее, медленнее, будто сам день устал и прилёг, — я вернулась в покои, выжатая, как после трёх смен подряд, и повалилась на роскошную постель прямо в чешуйчатом комбинезоне, который за день уже начал казаться мне почти своим.

Чужое тело гудело непривычной усталостью — оно уставало иначе, чем моё, в других местах, незнакомо. Я лежала, смотрела в белый перламутровый свод и впервые с момента пробуждения позволила себе маленькую, строго отмеренную порцию того, что записала на «вечер, после фактов».

Я скучала по ним.

По всем. По саркастичной Лизе с её чёрным котом, по громадному надёжному Викингу, по ворчливому Ивану Петровичу с его присказками, по тихой Светлане, которая умела одним взглядом успокоить. Я даже по Консулу скучала, хотя Консула, честно говоря, всегда немного боялась — слишком он был гладкий, слишком всё про всех знал, слишком спокойно крутил свою монету. А больше всех — я зажмурила чужие глаза, и из-под век всё-таки выкатилось по слезинке, чужой снаружи, моей внутри, — больше всех по Артёму. По его дурацкой болтовне, которой он забалтывал собственный страх. По тому, как он грыз карандаш, залезая в чужие сети. По тому, как он пришёл ко мне тогда ночью под нелепым предлогом и остался до утра, и мы не спали, и говорили обо всём на свете, и я впервые за долгое время не чувствовала себя одинокой.

«Где ты, Тём, — подумала я в белый свод. — В чьём ты теле. Жив ли ты вообще. Помнишь ли ты меня — там, где бы ты ни был».

И — я готова поклясться — в этот самый миг то дальнее, тихое, тёплое, что я поймала утром и списала на нервы, чуть-чуть, на полмгновения, стало ближе. Будто кто-то очень далеко, услышав мою мысль, на секунду обернулся. Будто нота, настроенная на меня, зазвучала чуть громче — и смолкла.

Я распахнула глаза. Села. Прислушалась всем своим новым, непонятным чувством.

Ничего. Тишина, поющая вода за стеной, чужие звёзды в окне, медленная планета в кольцах.

— Нервы, — сказала я вслух, своим низким чужим голосом, и усмехнулась, вытирая слёзы. — Тушь и чернила, Морозова, у тебя уже нервы разыгрались. Спи. Завтра работать.

Я не стала записывать это в дневник. Опять не стала — про дальнее тёплое, которое откликается на имя Артёма. Сама не знаю почему. Наверное, всё по той же причине: это была единственная за весь день вещь, которую я не могла разложить на полосе. А может, и по другой, в которой я тогда не призналась бы себе даже в тайном дневнике: потому что, пока я не записала это, пока не назвала словом, оставалась крошечная, глупая, ненаучная надежда, что это и правда он. А надежду я боялась спугнуть больше всего на свете — я слишком хорошо знала, как больно, когда она не сбывается.

Я уснула в чужом теле, под чужими звёздами, впервые за этот бесконечный день совсем одна.

И мне впервые за этот день не было одиноко.

Я до сих пор не знаю наверняка, кого за это благодарить, — но, кажется, знаю. Кажется, уже тогда, через весь мир, меня держал за руку мальчик с ноутбуком, сам не зная, что держит. Просто светил в темноту своим упрямым огоньком — а я, за тридевять миров, грелась у этого огонька и думала, что это нервы.

# Глава 4. Серый знак

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.